

# XXIV

Прошлого года, в марте, я поздно вечером возвращался домой. Заворачивая из Зубова в Хамовнический переулок, я увидел на снегу Девичьего поля черные пятна. Что-то ворочалось на месте. Я бы не обратил на это внимания, если бы не городской, стоявший в начале переуллка, который крикнул по направлению черных пятен:

— Василий! что ж не ведешь?

— Да не идет! — сказал оттуда голос, и вслед затем пятна двинулись к городовой.

Я остановился и спросил у городского:

— Что это такое?

Он сказал:

— Девчонок забрали из Ржанова дома, свели в участок, а одна отстала вот, не идет.

Дворник в тулупе вел ее. Она шла впереди, а он подталкивал ее сзади. Все — и я, и дворник, и городской — одеты были по-зимнему, одна она была в платье. В темноте я мог разобрать только коричневое платье, платок на голове и на шее. Она была мала ростом, как бывают малы заморыши, короткие ноги и относительно широкая, нескладная фигура.

— Из-за тебя, стерва, стоим. Иди, что ли! Вот я тебя! — крикнул городской.

Очевидно, он устал, и она уже надоела ему. Она прошла несколько шагов и опять остановилась. Старичок дворник, добродушный человек (я его знаю), дернул ее за руку.

— Вот я те остановлюсь! Иди! — притворялся он, что сердится.

Она пошатнулась и заговорила скрипящим голосом. Во всяком звуке была фальшивая нота, хрип и визг.

— Ну тебя, еще пихается! Дойду!

— Замерзнешь, — сказал дворник.

— Наша сестра не замерзнет. Я горячая.

Она хотела шутить, но слова ее звучали, как брань. У фонаря, который стоит недалеко от ворот нашего дома, она опять остановилась и прислонилась, навалилась почти на забор и что-то стала копать в своих юбках неловкими, застывшими руками. Опять они закричали на

нее, но она что-то бурчала и что-то делала. Она держала в одной руке согнувшуюся дугой папироску, в другой — сернички. Я остановился сзади: мне совестно было пройти мимо нее и совестно стоять и смотреть. Однако я решился и подошел. Она плечом лежала на заборе и об забор же бесполезно чиркала серничками и бросала их. Я рассмотрел ее лицо. Она была именно заморух, но, как мне показалось, уже старая женщина: я ей дал лет 30. Грязный цвет лица, маленькие мутные, пьяные глаза, нос пуговицей, кривые, слюнявые, опущенные в углах губы и выбившаяся из-под платка короткая прядь сухих волос. Талия длинная и плоская и короткие руки и ноги. Я остановился против нее. Она посмотрела на меня и усмехнулась, как будто зная всё, что я думал.

Я почувствовал, что надо сказать ей что-нибудь. Мне хотелось показать ей, что я жалею ее.

— Родители есть у вас? — спросил я.

Она засмеялась хрипло, потом вдруг оборвала и, подняв брови, уставилась на меня.

— Есть у вас родители? — повторил я.

Она усмехнулась с таким выражением, как будто говорила: ведь выдумает же что спрашивать!

— Мать есть, — сказала она. — А тебе что?

— А сколько вам лет?

— Шестнадцатый, — сказала она, тотчас же отвечая, очевидно, на привычный вопрос.

— Ну, марш, замерзнешь с тобой, пропади ты совсем! — крикнул городской, и она откачнулась от забора и перекачиваясь пошла вниз по Хамовническому переулку в участок, а я завернул в калитку и вошел в дом и спросил, вернулись ли мои дочери. Мне сказали, что они были на вечере, очень веселились, вернулись и уже спят.

На другой день утром я хотел пойти в участок узнать, что сделали с этой несчастной, и довольно рано собрался уж выходить, когда ко мне пришел один из тех дворян несчастных, которые, до слабости, сбились с привычной им господской жизни и то поднимаются, то опять падают. Мы с этим были знакомы три года. В эти три года этот человек уже несколько раз спускал всё, что у него было, и всё платье с себя; и с ним только что случилось такое событие, и он временно ночи проводил в Ржановом доме, на ночлежной квартире, а на день приходил ко мне. Он встретил меня на выходе и, не слушая меня, тотчас же начал рассказывать мне то, что у них в Ржановом доме случилось в эту ночь. Он начал рассказывать и не досказал до половины; он вдруг — он, старый, выдавший всякие виды человек — зарыдал, захлюпал и, замолчав, отвернулся к стене. Вот что он рассказал мне. Всё то, что он рассказал мне, была совершенная правда. Я проверил его рассказ на месте и узнал еще новые подробности, которые я расскажу заодно.

В той ночлежной квартире, в нижнем этаже, в 32-м номере, в котором ночевал мой приятель, в числе разных переменяющихся ночлежников, мужчин и женщин, за 5 копеек

сходящихся друг с другом, ночевала и прачка, женщина лет 30-ти, белокурая, тихая и благообразная, но болезненная. Хозяйка квартиры — любовница лодочника. Летом сожитель ее держит лодку, а зимой они живут сдачей квартиры ночлежникам: 3 копейки без подушки, 5 копеек с подушкой. Прачка несколько месяцев жила здесь и была тихая женщина, но в последнее время ее не взлюбили за то, что она кашляла и мешала жильцам спать. Особенно 80-тилетняя старуха, полусумасшедшая, тоже постоянная жиличка этой квартиры, возненавидела прачку и поедом ела ее за то, что она спать не дает и всю ночь перхает, как овца. Прачка молчала: она задолжала за квартиру и чувствовала себя виноватой, и потому ей надо было быть тихой. Она всё реже и реже могла ходить на работу — сил не хватало, и потому не могла выплачивать хозяйке. Последнюю неделю она вовсе не ходила на работу и только отравляла всем, особенно старухе, тоже не выходившей, жизнь своей перхотой. Четыре дня тому назад хозяйка отказала прачке от квартиры: на ней уже набралось шесть гривен, и она не платила их, и не предвиделось надежды их получить, а койки все были заняты, и жильцы жаловались на перхоту прачки.

Когда хозяйка отказала прачке и сказала, чтобы она выходила из квартиры, коли не отдаст денег, старуха обрадовалась и вытолкала прачку на двор. Прачка ушла, но через час вернулась, и у хозяйки не хватило духу выгнать ее опять. И второй, и третий день хозяйка не выгоняла ее. «Куда же я пойду?» говорила прачка. Но на третий день любовник хозяйки, человек московский и знающий порядки и обхождение, пошел за городным. Городовой с саблей и пистолетом на красном шнурке пришел в квартиру и, учтиво приговаривая приличные слова, вывел прачку на улицу.

Был ясный, солнечный, неморозный мартовский день. Ручьи текли, дворники кололи лед. Сани извозчиков подпрыгивали по обледеневшему снегу и визжали по камням. Прачка пошла в гору по солнечной стороне, дошла до церкви и села, тоже на солнечной стороне, на паперти церкви. Но когда солнце стало заходить за дома, лужи стали затягиваться стеклышком мороза, прачке стало холодно и жутко. Она поднялась и потащилась... Куда? Домой, в тот единственный дом, в котором она жила последнее время. Пока она дошла, отдыхая, стало смеркаться. Она подошла к воротам, завернула в них, поскользнулась, ахнула и упала.

Прошел один, прошел другой человек. «Должно, пьяная». Прошел еще человек и спотыкнулся на прачку и сказал дворнику: «Какая-то у вас пьяная в воротах валяется, чуть голову себе не проломил через нее; уберите вы ее, что ли!»

Дворник пошел. Прачка умерла.

Вот что рассказал мне мой приятель. Можно подумать, что я подобрал факты — встречу с пятнадцатилетней проституткой и историю с этой прачкой; но пусть не думают этого; это так точно было в одну ночь — не помню только какого марта 1884 года.

И вот, отслушав рассказ моего приятеля, я пошел в участок, с тем чтобы оттуда пойти в Ржанов дом узнать подробнее об этой истории прачки. Погода была прекрасная, солнечная, опять сквозь звезды ночного мороза в тени виднелась бегущая вода, а на припеке солнца, на Хамовнической площади, всё таяло, и вода бежала. От реки что-то шумело. Деревья

Нескучного сада синели через реку; порыжевшие воробьи, незаметные зимой, так и бросались в глаза своим весельем; люди как будто тоже хотели быть веселы, но у них у всех было слишком много заботы. Слышались звоны колоколов, и на фоне этих сливающихся звуков слышались из казарм звуки пальбы, свист нарезных пуль и чмоканье их об мишень.

Я прошел в участок. В участке несколько вооруженных людей — городских — проводили меня к своему начальнику. Он был также вооружен саблей и пистолетом и был занят каким-то распоряжением об ободранном, трясущемся старике, который стоял перед ним и от слабости не мог ясно выговорить того, что у него спрашивали. Окончив дело со стариком, он обратился ко мне. Я спросил о вчерашней женщине. Он сначала внимательно слушал меня, но потом улыбнулся и тому, что я не знаю порядков, для чего их водят в участок, и особенно тому, что я был удивлен ее молодостью.

— Помилуйте, да есть 12-ти лет, а 13-ти и 14-ти сплошь да рядом, — сказал он весело.

На вопрос же мой о вчерашней он объяснил мне, что их, должно быть, отправили в комитет (кажется, так).

На вопрос мой, где они ночевали, он отвечал неопределенно. Той же, о которой я говорил, он не помнил: их так много каждый день.

В Ржановом доме я в 32-м номере застал уже чтение дьячка над покойницей. Ее внесли на бывшую ее же койку, и жильцы, все голыши, собрали деньги на поминки, на гроб и на саван, а старухи убрали ее и положили. Дьячок что-то читал в темноте, женщина в салопе стояла с восковой свечкой, и с такой же свечкой стоял человек (господин, надо бы сказать) в чистом пальто с барашковым воротником, блестящих калошах и крахмаленной рубашке. Это был ее брат. Его разыскали.

Я прошел мимо покойницы в угол хозяйки и расспросил ее обо всем.

Она испугалась моих вопросов: она, очевидно, боялась, как бы ее не обвинили в чем-нибудь; но потом она разговорилась и рассказала мне всё. Проходя назад, я взглянул на покойницу. Все покойники хороши, но эта была особенно хороша и трогательна в своем гробу: чистое бледное лицо с закрытыми выпуклыми глазами, с ввалившимися щеками и русыми мягкими волосами над высоким лбом; лицо усталое, доброе и не грустное, но удивленное. И в самом деле, если живые не видят, то мертвые удивляются.

-----

В тот день, как я записывал это, в Москве был большой бал.

В эту ночь я вышел из дома в 9-м часу. Живу я в местности, окруженной фабриками, и я вышел из дома после свистков фабрик, которые после недели непрерывной работы выпустили народ на свободный день.

Меня обгоняли, и я обгонял фабричных, направляющихся к кабакам и трактирам. Многие уже были пьяны, многие были с женщинами.

Я живу среди фабрик. Каждое утро в 5 часов слышен один свисток, другой, третий, десятый, дальше и дальше. Это значит, что началась работа женщин, детей, стариков. В 8 часов другой свисток — это полчаса передышки; в 12 третий — это час на обед, и в 8 четвертый — это шабаш.

По странной случайности, кроме ближайшего ко мне пивного завода, все три фабрики, находящиеся около меня, производят только предметы, нужные для балов.

На одной ближайшей фабрике делают только чулки, на другой — шелковые материи, на третьей — духи и помаду.

Можно слышать эти свистки и не соединять с ними другого представления, как то, что они определяют время: «А вот уже свисток, значит пора итти гулять»; но можно соединять с этими свистками то, что есть в действительности: то, что первый свисток, — в 5 часов утра, значит то, что люди, часто вповалку — мужчины и женщины, спавшие в сыром подвале, поднимаются в темноте и спешат итти в гудящий машинами корпус и размещаются за работой, которой конца и пользы для себя они не видят, и работают так, часто в жару, в духоте, в грязи, с самыми короткими перерывами, час, два, три, двенадцать и больше часов подряд. Засыпают, и опять поднимаются, и опять и опять продолжают ту же бессмысленную для них работу, к которой они принуждены только нуждой.

И так проходят одна неделя за другою с перерывом праздников. И вот я вижу этих рабочих, выпущенных на один из тех праздников. Они выходят на улицу: везде трактиры, царские кабаки, девки. И они, пьяные, тащат друг друга за руку и девок, таких, как та, которую вели в участок, тащат с собой и нанимают извозчиков, и ездят, и ходят из одного трактира в другой, и ругаются, и шатаются, и говорят, сами не знают что. Я прежде видал такие шатания фабричных, и гадливо сторонился от них, и чуть не упрекал их; но с тех пор, как я слышу каждый день эти свистки и знаю их значение, я удивляюсь только тому, что не все они, мужчины, приходят в то состояние золоторотцев, которыми полна Москва, а женщины — в то положение девки, которую я встретил у моего дома.

Так я ходил, смотрел на этих фабричных, пока они возились по улицам, часов до 11. Потом движение их стало затихать. Остались кое-где пьяные, и кое-где попадались мужчины и женщины, проводимые в участки.

И вот показались со всех сторон кареты, все направляющиеся в одну сторону. На козлах кучер, иногда в тулупе; лакей-щеголь с кокардой. Сытые рысаки в пополах летят по морозу с быстротой 20 верст в час; в карете дамы, закутанные в ротонды и оберегающие цветы и прически. Всё, начиная от сбруи на лошадях, кареты, гуттаперчевых колес, сукна на кафтане кучера до чулок, башмаков, цветов, бархата, перчаток, духов, — всё это сделано теми людьми, которые частью пьяные завалились на своих нарах в спальнях, частью в ночлежных домах с проститутками, частью разведены по сибиркам. Вот мимо их во всем ихнем и на всем ихнем едут посетители бала, и им и в голову не приходит, что есть какая-нибудь связь между тем балом, на который они собираются, и этими пьяными, на которых строго кричат их кучера.

Люди эти с самым спокойным духом и уверенностью, что они ничего дурного не делают, но что-то очень хорошее, веселятся на бале. Веселятся! Веселятся от 11 до 6 часов утра, в самую глухую ночь, в то время, как с пустыми желудками валяются люди по ночлежным домам и некоторые умирают, как прачки.

Веселье в том, что женщины и девушки, оголив груди и наложив накладные зады, приводят себя в такое неприличное состояние, в котором неиспорченная девушка или женщина ни за что в мире не захочет показаться мужчине; и в этом полуобнаженном состоянии, с выставленными голыми грудями, оголенными до плеч руками, с накладными задками и обтянутыми ляжками, при самом ярком свете, женщины и девушки, первая добродетель которых всегда была стыдливость, являются среди чужих мужчин, в тоже неприлично обтянутых одеждах, и с ними под звуки одурманивающей музыки обнимаются и кружатся. Старые женщины, часто так же оголенные, как и молодые, сидят, глядят и едят и пьют то, что вкусно; мужчины старые делают то же. Не мудрено, что это делается ночью, тогда, когда весь народ спит, чтобы никто не видел этого. Но это делается не для того, чтобы скрыть; им кажется, что и скрывать нечего, что это очень хорошо, что они этим весельем, в котором губится труд мучительный тысяч людей, не только никого не обижают, но этим самым они кормят бедных людей.

Может быть, очень весело на балах. Но как это сделалось так? Ведь когда мы видим в обществе и среди нас, что есть один человек, который не ел или озяб, то нам совестно быть веселыми, и мы не можем быть веселы до тех пор, пока он не насытится и не согреется, не говоря уже о том, что нельзя себе представить людей, могущих веселиться таким весельем, которое причиняет страдания другим. Нам противно и непонятно веселье злых мальчишек, которые зажмут собаке хвост в лещетку и веселятся этим.

Так как же здесь, в этих наших весельях, на нас напала слепота, и мы не видим той лещетки, которою мы зажали хвосты тех людей, которые страдают для нашего веселья?

Ведь каждая из женщин, которая поехала на этот бал в 150-тирублевом платье, не родилась на бале или у M-me Minangoу, а она жила и в деревне, видела мужиков, знает свою няню и горничную, у которой отцы и братья бедные, для которых выработать 150 рублей на избу есть цель длинной трудовой жизни, — она знает это; как же она могла веселиться, когда она знала, что она на этом бале носила на своем оголенном теле ту избу, которая есть мечта брата ее доброй горничной? Но, положим, она могла не сделать этого соображения; но того, что бархат, и шелк, и конфекты, и цветы, и кружева, и платья не растут сами собой, а их делают люди, — ведь этого, казалось бы, она не могла не знать; казалось бы, она не могла не знать того, какие люди делают всё это, при каких условиях и зачем они делают это. Ведь она не может не знать того, что швея, которой она была так недовольна, совсем не из любви к ней делала ей это платье; поэтому не может не знать, что всё это делалось для нее из нужды, что так же, как ее платье, делались и кружева, и цветы, и бархат. Но, может быть, они так отуманены, что и этого они не соображают? Но уж того, что пять или шесть человек старых, почтенных, часто хворых лакеев, горничных не спали и хлопотали из-за нее, этого она уже не могла не знать. Она видела их усталые, мрачные лица. Не могла она не знать тоже того, что в эту ночь мороз доходил до 28 градусов и что кучер-старик сидел в этот мороз всю ночь на козлах. Но я знаю, что они точно не видят этого. И если они, те молодые

женщины и девушки, которые из-за гипнотизации, производимой над ними балом, не видят всего этого, их нельзя осудить: они, бедняжки, делают то, что считается старшими хорошим; но старшие-то как объясняют эту свою жестокость к людям?

Старшие дадут всегда одно объяснение: «я никого не принуждаю: вещи я покупаю, людей — горничных, кучеров — я нанимаю. Покупать и нанимать — в этом нет ничего дурного. Я не принуждаю никого, я нанимаю. Что же тут дурного?»

На-днях я зашел к одному знакомому. Проходя первую комнату, я удивился, увидав двух женщин за столом, зная, что знакомый мой — холостяк. Худая, желтая, старообразная женщина, лет 30-ти, в накинутом платке, быстро, быстро что-то делала руками и пальцами над столом, нервно вздрагивая, точно в каком-то припадке. Наискосе сидела девочка и точно так же что-то делала, точно так же вздрагивая. Обе женщины, казалось, были одержимы пляской св. Витта. Я подошел ближе и вгляделся в то, что они делали. Они вскинули на меня глазами и так же сосредоточенно продолжали свое дело. Перед ними лежал рассыпанный табак и патроны. Они делали папироски. Женщина растирала табак в ладонях, захватывала в машинку, надевала патроны и просовывала и кидала девочке. Девочка свертывала бумажки и, всовывая, кидала и бралась за другую. Всё это делалось с такой быстротой, с таким напряжением, что нельзя описать этого. Я выразил удивление их быстроте.

— Четырнадцать лет только одно и делаю, — сказала женщина.

— Что же, трудно?

— Да, в груди болит, да и дух тяжелый.

Впрочем, ей не нужно было и говорить этого. Довольно было взглянуть на нее. Довольно было взглянуть на девочку. Она занимается этим третий год, но всякий, увидав ее за этим занятием, скажет, что это сильный организм, который уже начал разрушаться. Знакомый мой, добрый и либеральный человек, нанял этих женщин набивать папироски за 2 рубля 50 копеек за тысячу. У него есть деньги, и он дает их за работу. Что ж тут дурного? Знакомый мой встает часов в 12. Вечер, от шести до двух, проводит за картами или фортепиано, питается вкусным и сладким; все работы на него делают другие. Он выдумывает себе новое удовольствие — курить. Он на моей памяти стал курить.

Есть женщина и девочка, которые еле-еле могут питаться тем, что превращают себя в машину и всю жизнь проводят вдыхая табак и губя этим свою жизнь. У него есть деньги, которые он не заработал, и он предпочитает играть в винт, чем делать себе папиросы. Он дает этим женщинам деньги только под тем условием, чтобы они продолжали жить так же несчастно, как они живут, т. е. делая для него папиросы.

Я люблю чистоту и даю деньги только под тем условием, чтобы прачка вымыла ту рубашку, которую я сменяю два раза в день, и эта рубашка надорвала последние силы прачки, и она умерла.

Что ж тут дурного? Люди, покупающие и нанимающие, и без меня будут заставлять других делать бархат и конфекты и покупать их, и без меня будут нанимать делать папироски и мыть рубашки. Так отчего же мне лишать себя бархата, и конфект, и папирос, и чистых рубашек, если это уж раз заведено? Я часто, почти всегда, слышу это рассуждение. Рассуждение это — то самое, которое сделает обезумевшая толпа, разрушая что-нибудь. Это то самое рассуждение, которым руководятся собаки, когда одна из них бросилась и повалила другую, а остальные набрасываются и разрывают ее в куски. Уж начали, попортили, так отчего же и мне не попользоваться? Ну, что же будет, если я буду носить грязную рубашку и делать сам себе папироски? Разве кому-нибудь будет легче? — спрашивают люди, которым хочется оправдать себя. Если бы мы не были так далеки от истины, то на такой вопрос совестно бы было отвечать; но мы так запутались, что вопрос этот кажется нам очень естественным и потому, хоть и совестно, но надо ответить на него.

Какая разница будет, если я буду носить рубашку неделю, а не день, и делать себе сам папиросы или вовсе не курить?

Та разница, что какая-то прачка и какая-то делательница папирос будут меньше напрягать свои силы, и то, что я давал за мытье и делание папирос, я могу отдать той прачке или даже совсем другим прачкам и работникам, которые устали от своей работы и которые вместо того, чтобы через силу работать, будут в состоянии отдохнуть и напиться чаю. Но я на это слышал возражения. (Так совестно богатым и роскошным людям понять свое положение!) На это говорят: «Если я буду ходить в грязном белье и не курить, а отдавать эти деньги бедным, то у бедных всё-таки отберут всё, и та ваша капля в море не поможет».

На такое возражение еще совестнее отвечать, но надо ответить. Это такое обычное возражение! Ответ на это — простой.

Говорят: деятельность одного человека есть капля в море. Капля в море!

Есть индейская сказка о том, что человек уронил жемчужину в море и, чтобы достать ее, взял ведро и стал черпать и выливать на берег. Он работал так не переставая, и на седьмой день морской дух испугался того, что человек осушит море, и принес ему жемчужину. Если бы наше общественное зло угнетения человека было море, то и тогда та жемчужина, которую мы потеряли, стоит того, чтобы отдать свою жизнь на вычерпывание моря этого зла. Князь мира сего испугается и покорится скорее морского духа; но общественное зло не море, а вонючая, помойная яма, которую мы старательно наполняем сами своими нечистотами. Стоит только очнуться и понять, что мы делаем, разлюбить свою нечистоту, чтобы воображаемое море тотчас иссякло и мы овладели той бесценной жемчужиной братской, человеческой жизни.